

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

Орган правления союза советских писателей СССР.
Выходит под редакцией В. Вишневского, А. Кулагина,
В. Лебедева-Кумача, М. Лифшица, Е. Петрова,
Н. Погодина, А. Фадеева.

№ 36 (815)

30 июня 1939 г., пятница

Цена 30 коп.

Литература и флот

Несколько дней назад газеты сообщили о решении Центрального Комитета партии и нашего советского правительства сделать 24 июля — Днем Военно-Морского Флота СССР. Этот факт имеет серьезнейшее значение для всей огромной работы по укреплению обороны моих СССР.

Территория социалистической родины омыается многими морями и двумя океанами. Враги нашей страны подбирают ключи ко всем ее воротам, в том числе и к морским. И естественно, что перед нами стала задача сделать недоступными для врага равно как сухопутные, так и водные рубежи.

На один из сессий нашего социалистического парламента — Верховного Совета СССР представители народа единогласно потребовали создания мощного морского и океанического флота. Тогда же было решено организовать специальный Народный комиссариат Военно-Морского Флота. Страна отпустила и отпускает большие средства для строительства флота. Советский флот быстро пополнился и все время будет пополняться новыми крупными боевыми единицами. Партия и правительство постоянно иежегодно проводят День Военно-Морского Флота. Все это вытекает из желания сделать нашу родину неизвестной ни с земли, ни с воздуха, ни с воды, ни с морского dna.

Весь советский народ с огромным удовлетворением встретил решение ЦК ВКП(б) и Совнаркома. Строительство большого морского и океанического флота — дело всего советского народа.

Писатели — одни из передовых отрядов советской интеллигентии — должны также принять активнейшее участие в этой огромной важности работе, разумеется, склонами средствами, средствами художественного воздействия. И в прежние времена многие русские литераторы увлекались морской тематикой. Еще в первые годы XIX века Бестужев-Марлинский положил начало русскому морскому роману. Этому теме продолжали развивать в литературе Несмеинский, Даля, Григорович. Известно, что крупнейший русский писатель Гончаров плавал на кораблях адмирала Путятина. Он участвовал в кругосветном рейсе, и из-под его цепь вышло произведение, сохранившееся по сей день интереса — «Фрегат Паллада». Наконец, широко популярны были морские рассказы Станюкова, которыми зачитывалась в свое время революционно настроенная молодежь.

Наши советские писатели тоже немало работали над морской тематикой — в прозе, поэзии, драматургии, кино. Эти произведения вошли в золотой фонд советской литературы и искусства, и без них нельзя составить полного представления о нашей литературе. Всем известны «Капитальный ремонт» Л. Соболева, «Чусима» А. Новикова-Пробоя, «Разлом» Б. Лавренева, «Мы из Кронштадта» Вс. Вишневского, «Черное море» Б. Паустовского, «Гибель эскадры» А. Корнейчука, «Севастополь» А. Малышкина и др. Но, как правило, в лучших наших художественных произведениях о жизни моряков показан революционный флот или же флот периода гражданской войны. Настоящих книг о современном флоте, о его прекрасных людях, о героях делах флота еще нет. Наши писатели, описывающие флот гражданской войны, чаще всего изображали, как преодолевались анархические настроения в среде моряков, борьба революционного сознательного элемента с мелкобуржуазным началом. Это полезно и важно. Но флот теперь другой. И краснофлотцы в нем другие. Это люди, почти всю свою жизнь прожившие при советской власти, воспитывавшиеся под влиянием коммунистических идей, нового отношения к собственности, нового понимания своего места в обществе. Одним словом, это гражданин социалистического государства. Это целиком относится и к командному составу, который состоит теперь главным образом из новой, советской интелигенции. Показать в литературе современный флот, прививать народу любовь к нему и к его людям — почетное и благородное для художника дело, дело общегосударственной важности.

Нам думается, что художественные издательства должны были бы также просмотреть свои планы и включить в них, помимо соревнований о флоте, наиболее значительные произведения из старой морской литературы.

Всю фалу существует давняя традиция матросской песни. Ее стоит внимательно изучить и продолжить. Старые матросские песни переходили из одного флотского поколения в другое, раслевались в народе. Их знают и поют до сих пор. «Гибель «Варяга», «Бочегар» («Товарищи, не в силах я вахту стоять») и другие песни, проникнутые то патриотической гордостью, то гневом, то мягким лиризмом, сохраняют и сейчас свою поэтическую свежесть. Много хороших советских песен поет наше народ. Но среди них нет почти ни одной морской песни. Это тем более странно, что морская тематика лает богатейшие возможности для поэтов и композиторов. Очевидно, этим никто всерьез не занимался.

День Военно-Морского Флота СССР — недалеко. Кое-что можно успеть сделать (в частности создать несколько песен) к этому времени. Но работа писателей не должна ограничиться подготовкой к этому дню. У нас, к сожалению, установилась дурная привычка: мы считаем, что датой кончается юбилей. Это неверно. Работа тут только начинается. И создание морской художественной литературы не может быть приурочено ни к какой дате. Это дело, которое нужно осуществлять день за днем.

«Бой Давида с Месрамеликом»

Проснулся. И чует Давид,
Что он стал могуч. Одежда отца
Сделалась тесной ему.
Он поглядел на Джакалли,
Стал вдвое больше коня.
Конь заржал, словно гром загремел,
Подбежал.
Давид занудил его, сел на него,
Засмеялся и поскакал.
Глядит Давид — «железный толстый
столб

Среди пути стоит.
И конь сказал: «Давид,
Вот этот столб, что видишь ты, —
столб испытания Мигра.
Сразмаху разрубишь — пойдем
воевать!
А не разрубишь его — не пойдем». Меч выхватил Давид, ударил по столбу.
Меч-молния тот столб рассек.

Так быстро рассек его молния-меч,

Что столб отсеченный кусок не упал.

Остался кусок на куске.

А Давид и не знал, что он столб
разрубил;

Огорчился Давид,

«Ноги! Были бы слабыми вы,

Никогда бы сюда не дошли,

Чтобы мне по столбу не бить, —

Не увало б сердце мое!

Руки! Были бы слабыми вы,

И не смели бы взяться за меч,

Чтобы мечом столб разрубить, —

Не увало б сердце мое!

Очи! Были бы темными вы,

Вы не видите б этот стыд,

Что я столб не мог повалить, —

Что с Меликом не биться мне!

Вдруг ветер налетел, завыл,

И вихрь взвыл, винзапен был.

Ударил он в железный столб

И столб свалил, видит гладкий срез,

Да столб он разрубил,

Заливал, сказал:

«Вечно зеленет ногам,

Быть бы им еще резвой,

За то, что я столб железный рассек!

Вечно зеленеть рукам,

Быть бы им еще сильней,

Чтоб живым от них не ушел Мелик!

Это видевшим глазам —

Не погаснуть в векъ!

Сказали, погнал коня.

У тех камней, холмов и гор

и родников

Прошения попросил.

И так им с пеньем говорил:

«Как-бог, творящий добро,

В щедротах неиссякаемы вы!

Эй! Студеные родники Цовасара,

Отрадными оставайтесь вы!

Буду жаждать в бою, примимая

удары, —

В тоске обо мне оставайтесь вы!

Прохладные ветра Цовасара,

Отрадными оставайтесь вы!

Буду полон я томленья и жара, —

Прохладными оставайтесь вы!»

Отрывок из главы поэмы «Давид Сасунский», печатающихся во второй книге альманаха «Дружба народов».

Умолк. Погнал коня на войско
Месрамелика.
Он видел, — есть небесных звездам
счет,
А тем шатрам арабским счета нет.
Стал вдвое больше коня.
Глядит, — несметнее морских песков
кишат войска.

Он головою покачал:
«Воже мой! Как же мне с громадой
такой воевать?

Будь они даже стадом весенних ягнят,
А я бы был головным львом, —
Я не смог бы всех задрат,

растерзать!

Когда б я пожаром стал,
А стогами стали шатры,
Я не смог их испепелить, пожрат!

Если б я ураганом стал,
А пеплом стали шатры,
Я не смог бы их поднять, разметать!»

Джакалли угадал его думы, сказал:
«Эй, ты, глупец, отчего твой страх?

Сколькоих твой меч сразит,
Столькоих я огнем из ноздрей сплюю!»

Столькоих твой меч сразит,
Столькоих грудью я повалю!

Столькоих колптом я раздавлю!

Не унывай, — гони меня!

Лишь не разлучайся со мной!»

От этих слов окреп душой Давид.

Он поскакал. Конь сказал:

«Стой! Я их упреку сперва,

И вороти сердце в землю!

И опустил свой меч Давид —

взмахнул им, побряцал.

Потом поцеловал клинок,

И приложил ко лбу, и молвили:

«Мать, —

Этот удар тебе я дарю!»

И снова ускакал Давид.

И вновь принесся с гор, чтоб

Сестра Мелика преградила путь:

«Давид! Когда ты был дитя,

Я нянчила тебя, — играла я с тобой;

Подари мне этот удар!»

Вновь опустил свой меч Давид —

две раза им взмахнул,

И опустил клинок

И, приложил ко лбу, сказал:

«Второй удар — тебе дарю!

Остался лишь один удар

да бог, да я

Убью, иль — пусть живет!»

Вновь повернулся Давид,

И Сасуну прискакал,

И от Сасуны взял разбег,

Уж приближался к яме он.

Увидела его Исимль-ханум —

И вот всем девушки своим, что

привезла с собой,

Она приказала:

«Дуйте в свирели!

В трубы играйте!

В бубны бряцайте!

Ваша капири руки берите!

Мило пляшите, нежно пляшите!

Это Давид — паренек неженатый,

Он заглядится — слабо ударит

И не убьет Мелика!»

Девушки встали,

Вязли сирели,

В трубы и бубны

Винг занягали

И занягали.

Но понял все Давид.

«Зачем они пляшут? — он сказал.

Заворожить меня хотят».

Восхликал: «О, высокая Марут!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Одним из самых волнующих событий недавно закончившегося Третьего конгресса американских писателей было оглашение списка имен сорока двух писателей из девяти стран, павших в борьбе с фашизмом. В глубоком волнении, склонив головы, авторитетная, стоя, слушала чтение этого скорбного листа. Мы публикуем здесь этот список и прочитанный Ленгстоном Хьюзом текст обращения «Вечная память».

Сотни тысяч людей отдали свою жизнь жестокой борьбе с фашизмом. Среди тех, кто погиб в концентрационных лагерях, кто пал на полях сражения или в тылу, борясь с фашизмом, было много писателей. Не принимавшие прямого участия в политике, они замучены только потому, что выражали чаяния и надежды угнетенных. Другие, политически более активные, открыто выступили против фашистского гнета. Оставаясь верными высокому призванию писателя, они предпочли пасть в бою, чем погибнуть на службе реакции. Среди них были добровольцы интернациональных brigad, которые оставили перо и взялись за оружие для защиты Испанской республики.

Вот их имена:

Леопольд Алас — Испания	Георг Лукач (Матэ Залка) — Венгрия
Эрих Барон — Германия	Антонио Мачадо — Испания
С. Барраль — Испания	Льюис Морган — Англия
Пабло де ла Торриенте Брау — Куба	Науль Морган — Германия
Франц Браун — Германия	Эрих Мюзас — Германия
Льюис Клайв — Англия	Карл Оссенцик — Германия
Джон Корнфорд — Англия	Аарон Лопоф — США
Феликс Фехенбах — Германия	Арнольд Рей — США
Карраско Формигера — Испания	Френк Риан — Ирландия
Ральф Фокс — Англия	Артур Рунд — Германия
Эгон Фридель — Австрия	Г. Дж. Скотт — Англия
Дэвид Гост — Англия	Джон Скотт — Англия
Элан фон Хорват — Венгрия	Фриц Сольмин — Германия
Гарри Гайес — США	Крис. С. Спринг — Англия
Грегор Ярх — Германия	Рудольф Томас — Чехо-Словакия
Лео Крель — Германия	Уильям Титус — США
Джеймс Лардер — США	Эрнст Толлер — Германия
Бен Лайдер — США	Карлос де ла Торриенте — Испания
Теодор Лессинг — Германия	Курт Тухольский — Германия
Ганс Литтей — Германия	Паласио Вальдес — Испания
Федерико Гарсия Лорка — Испания	
Ганс Баймлер — Германия	

УНИЧТОЖЕНИЕ КНИГ ФАШИСТАМИ

Корреспондент «Нью-Йорк таймс» Гедай, автор книги «Предательство в Центральной Европе», рассказывает в «Паблишер уникли» о методах борьбы с культурой, применяемых в Чехо-Словакии германскими оккупантами.

«Я был недавно в большом нью-йоркском книжном магазине на Пятой авеню, и мне невольно пришел в голову вопрос, как выглядел бы этот магазин завтра днем, если бы Нью-Йорк пришел пережить то, что я видел шесть недель назад в одной из больших столиц Европы. Книжный магазин в Праге, который я часто навещал, был уничтожен меньше чем в 24 часа. Четырех рабочих часов было достаточно, чтобы снести всякие следы свободной книги».

Пражские книжные магазины получили книги Гедая в тот день, когда Прага была оккупирована германскими войсками. «15 марта, — продолжает Гедай, — едва ли имел представление о том, какое указывающее зрение представляет собой средняя книжная лавка в большей части стран современной Европы. Статистика, показывающая в цифрах падение германской литературы, не дает достаточно полного понятия об умственном оскудении, о духовной пустыне, в которой обречен жить любитель книги в Германии, Италии и других странах Европы, находящихся под фашистским влиянием. Пустота мысли однажды и в политических и в художественных произведениях. Вопрос о праве книги на появление в свет решает не авторское дарование, а происхождение его прабабушки. Если прабабушка в портфеле, то необходимо, чтобы героиня книги была светловолосая Брунгильда, гером-голубоглазый нордический гигант в коричневой рубашке, во всяком случае с «коричневыми духами». Отрицательные типы должны быть изображены как коротконогие дегенераты, мечтающие о паробращении нордических светловолосых людей. На худой конец, они могут быть «коридническими предками».

Удивительно ли, что в таких условиях добровольная покупка книг упала до неслыханно низкого уровня?

М. С.

Магеллан был практик, а не ученик; он привык иметь дело с солдатами, а не с

П. БАЛАШОВ

«ЧЕЛОВЕК НА ДОРОГЕ»

Бродзей не признавал Альберта Мальца, и Альберт Мальц не признавал Бродзея и его критических столов. Революционный драматург и новеллист, Мальц шел своей дорогой. Его не прельщало ремесло драматурга, поставляющего Бродзу легковесный и пустой «сценический материал». Мальц хотел быть выразителем дум и чаяний американского народа, его жизни и борьбы.

Своей пьесой «Карусель» Мальц напес звонкую пощечину главарям «демократической» Тамани-Холла, этим «блестящим порядкам», тесно связанным с преступным миром гангстеров. Он поднял голос за человека, рядового американца, которому не дают жить. В следующей пьесе — «Мир на земле» Мальц выступил против буржуазного патриотизма; в «Шахте» он показал борьбу горняков Западной Виргинии.

Не так давно в нью-йоркском издательстве «Интернациональ Паблишер» вышел сборник новел Альберта Мальца «Такова жизнь» («The Way Things they are»). Книга эта — голос самой жизни. В ней нет лакировок, нет стандартного «американского оптимизма». Мальц показывает жестокий, грязный капиталистический мир, он полон ненависти ко всему, что тяжело

и часто смертельно ранит его героя; его головы мрачны, но все же не беспросветны. Мальц — гуманист в лучшем смысле этого слова. Но творчество молодого американского писателя показалось вспышкой великого М. Горького. Мальц вполне самостоятелен и в выборе сюжета и в его разви-тии, но подлинно гуманистичен.

Когда я осматривал всемирную выставку, я подумал, что если бы в Нью-Йорке появились те же «туристы» в серой форме, то 80 проц. предметов исчезли бы с выставки в один день, хотя ни один из них не был бы продан».

Дело в том, что оккупационные вла-

стии Чехо-Словакии, не решаясь открыто громить магазины, приказали солдатам расстаскивать книги, т. е. произвести тот же разгром, но более благовидным образом. Книги сдавались солдатам властям. В печати отмечалось немало случаев, когда солдаты-антifaшисты, пользуясь этим порядком, заходили в книжные лавки и брали антифашистские книги, но они платили.

«Американский книгопродавец и американский читатель, — пишет Гедай, — едва ли имеют представление о том, какое указывающее зрение представляет собой средняя книжная лавка в большей части стран современной Европы. Статистика, показывающая в цифрах падение германской литературы, не дает достаточно полного понятия об умственном оскудении, о духовной пустыне, в которой обречен жить любитель книги в Германии, Италии и других странах Европы, находящихся под фашистским влиянием. Пустота мысли однажды и в политических и в художественных произведениях. Вопрос о праве книги на появление в свет решает не авторское дарование, а происхождение его прабабушки. Если прабабушка в портфеле, то необходимо, чтобы героиня книги была светловолосая Брунгильда, гером-голубоглазый нордический гигант в коричневой рубашке, во всяком случае с «коричневыми духами». Отрицательные типы должны быть изображены как коротконогие дегенераты, мечтающие о паробращении нордических светловолосых людей. На худой конец, они могут быть «коридническими предками».

Итак, Магеллан — ученик и гуманист, замечательный человек, отдавший жизнь за идею кругосветного путешествия.

Однако факт остается фактом: исторический Магеллан лично не был заинтересован в осуществлении кругосветного путешествия. Научные задачи путешествия не существовали для Магеллана, когда он — в прошлом неудачливый португальский моряк и солдат — панимался на службе испанской короны.

Магеллан приехал короля Кастильи отнюдь не тем, что его кругосветное путешествие обогатит сокровищницу человеческих знаний, — но этого Кастильи и членам его совета не было никакого дела.

Магеллан обещал расширять владения Испании, в которых уже тогда находились колонии, — он надеялся разбогатеть сам и обогатить других — тех, кто поверил в его способности, в его счастливую звезду. При этом Магеллан полагался на географические знания других, на непроверенные и, как оказалось, впоследствии ошибочные карты.

Магеллан был практик, а не ученик; он

привык иметь дело с солдатами, а не с

как стекло. И вот его легкие — как тряпки. Многие товарищи уже умерли, скоро настанет и его черед, неотвратимый, неизбежный. А он должен сдержать любую жену, которой написал трогательное предсмертное письмо. «Когда я переписал это письмо, он прочел его. Он читал долго. Наконец он спирнулся его и приложил к нижнему белью. Его большое, забрызганное грязью лицо было мягким и нежным.

— Спасибо, приятель, — сказал он.

И потом очень тихо, слегка наклонив голову:

— Не хочется умирать. И жену жалко. Хорошо она.

Он помочился, а потом сказал, словно про себя, так тихо, что я едва рассыпал:

— Не хочется умирать.

Я смотрел ему в лицо. Глаза потускне-ли. Я испытывал чувство жалости и любви к нему и глубокую непривычку к тем, кто его погубил.

Он встал и ничего не сказал. Промолчал и я. Я видел его плотную широкую спину в синей рабочей блузе, когда он стоял у двери.

Он ушел в темноту и дождь.

Горячий Джек Питкэт ушел искать ра-

боту, хотя жить ему осталось, четыре ме-сяца.

«Человек на дороге» — это рассказ поэта, чувствующего глубокий драматизм американской жизни, это рассказ, проникнутый пафосом отрицания того общества, которое калечит и губит человека.

Горячий Джек Питкэт, как и многие другие, остался без работы. Он избрался дороги Америки в бесплодных цепонках ме-ста. Нашлась случайная работа по про-кладке тоннеля. Гора — кремневая, пыль-

и. З. ЗАВИЧ

ГУМАНИСТ ИЛИ КОНКВИСТАДОР?

Отнюдь нет!

Но не следует вырывать героя из исторической обстановки, как это делает Ст. Цвейг. Значение Магеллана в истории географической мысли определяется вполне и правильно, если читатели увидят из биографического романа, каковы были политические цели самого Магеллана и тех, кто

— в полном согласии с ним — его поддерживал и finanziровал.

Историческая прогрессивность первоначального наклона доказывается не тем, что Магеллан, в отличие от Кортеса и Пизарро, якобы не грабил и не убивал. Цвейг напрасно умилится по поводу мифической обращения в христианство туземцев Филиппинских островов и противопоставляет «методы» гуманиста Магеллана методам конквистадоров. «Утренняя заря капиталистической эры производства», о которой писал Маркс в «Капитале» и один из провозвестников которой был исторический Магеллан, была кровавой зарей. А Цвейг ставит героическую жизнь Магеллана как будто вне всего этого.

Основная задача Цвейга — воодушевить и вдохновить примером Магеллана молодежь, ищащую в наше время подиума на службе человечеству, показать людям наше времени гуманиста-ученого, который готов отдать все в имя прекрасной идеи. Это хорошая задача, но исторические средства, которыми находятся в распоряжении Цвейга, не адекватны ей.

Вот почему Цвейг пишет не историю, а роман-фельетон, роман увлекательный, интересный, яркий, созданный на основе внешних данных биографии Магеллана, романа, безусловно заслуживающий того, чтобы с ним познакомился советский читатель. Этот роман-фельетон написан с обычным для Стефана Цвейга мастерством психологического анализа. Магеллан Цвейга — большой человек, уверенный в своей исторической миссии и в ее прогрессивности, далекий от агонии, рыцарь гуманизма. Он гораздо лучше, чем подлинный Магеллан: на книге Цвейга читатель учится жизни, но не истории.



Участники третьего американского конгресса писателей. Вверху (справа направо): Сильвия Таунсенд Уорнер, Винсент Шарп, Луис Арагон. Внизу: Дональд Огден Стюарт, Томас Манн, Ричард Райт.

ЗА РУБЕЖОМ

ПРИСТИЛИ О ДРАМАТИЧЕСКИХ

Известный английский драматург Джон Б. Пристли, свой речи на шекспировском фестивале в Стратфорде высказал несколько интересных мыслей о судьбе современного английского театра.

— У нашего театра, — говорит Пристли, — немало врагов. Прежде всего это правительство, которое обременяет театры налогами, несмыслица на то, что театр и так терпит убытки. О культурной и воспитательной роли театра никто не думает, их ставят один ряд с увеселительными заведениями питеиного толка.

Многие представители прессы относятся к театру если не враждебно, то равнодушно, с апатичной, растущей из дня в день. Критики аплодируют триумфальным комедиям, в которых нет никакого смисла, и обижаются на любой серьезный эксперимент.

Экономическое положение театра ставит его в зависимость от той публики, которая коротает в нем для «развлечений» время после обеда. Для нее театр — антракт перед ужином.

Я не могу понять, почему созралось мнение, будто театр существует для того, чтобы зритель мог забыться на сцентиментально-глупом спектакле... Думаю, куда полезнее было бы прислушаться к мыслям этих писателей, которые без обиняков говорят о правде жизни.

Фривольным пьесам обеспечен кассовый успех. Постановка же серьезной пьесы связана с риском, — это ставка на случай, игра, которая может кончиться неудачей и которой избегают театральные дельцы.

Лондонский журнал «Театральный мир» в первом номере с грустью замечает по поводу речи Пристли:

«Пристли — один из немногих современных выдающихся драматургов, но при этом состояния английского театра он наверно захочет забросить перо драматурга и предпочтет новой пьесе — роман, новеллу».

НОВЫЙ ОРГАН АВСТРИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Антифашистские эмигранты из Австрии основали в Париже новый ежемесячник «Nouvelles d'Autriche» («Австрийские новости»), выходящий на двух языках — немецком и французском. Задача журнала — распространять правду об Австрии, чьи годы не заладили никакие иноzemные поработители. Среди членов почетного редакционного комитета находятся имя английского журналиста и члена парламента Вернера Бартлета, парижского профессора и журналиста Альбера Байе, писателей Луи Арагона, Лиона Фей

«Детских книг нет...»

В центре города, на улице Горького, помещается большой, показательный магазин детской литературы. Но в магазине почему-то совершенно нет детей. У прилавка небольшое количество людей непрерывно рассматривает ассортимент магазина.

На прилавках — журналы Дома моделей с портретами томных девушек в чернобурых лисах, плакаты, открытки, кубики, игрушки, флашки, олеографии и прочие разнообразные товары, не имеющие никакого отношения к детской литературе.

Прилавок, за которым дети сами выбирайтесь книги, представляет собой уголок пропажи кинофильмов для детского кино.

Продавщицы устало отвечают всем покупателям одно и то же:

— Были каких детских книг нет...

В магазин вошла маленькая девочка. Поляня голову вверх, она радостно вскрикнула:

— Мама! Вот наверху книжки.

Но отчего-то услышала этот материнский звук.

— Это, Леночка, только обложки книжек. Это будто бы книжки. Для украшения.

Действительно, над прилавками заманчиво красуются большие цветные обложки любимых детских книг: тут «Почта С. Мариника», «Мойдодыр» К. Чуковского, «Считалочка» А. Барто, «Буденниши» Л. Касильи. Но самих этих книг давно нет продажи.

Иные месяцы кончились. По плану Детиздата, издательство должно было снабдить магазины в течение этого месяца 35 книгами классических и советских писателей для всех возрастов. В плане значится книга классиков: Альдерсона, Гаршина, Л. Толстого, Короленко, Лермонтова, Диккенса, Сальтыкова-Щедрина.

Обещаны были и книги советских писателей: А. Голубовой, С. Гехта, А. Дмитриева, О. Перовской, В. Кацава, Л. Касильи, А. Новикова-Прибоя и т. д.

Но из 35 назанных книг Детиздат снабдил в течение июня магазин детской книги только семью книгами, которые, конечно, были тотчас же раскуплены.

М. ЖЕЛЕЗНОВА

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Как часто, читая некоторые, даже хорошие переводные книги, испытываешь чувство досады и недоумения. И книга, казалось бы, интересна, и перевод вполне литературный, но нет-нет, да наткнешься на досадные «перлы» отсебятиной или не-вещества.

Недавно я прочел хорошую книгу Джорджа Мильбрена «Прескварант» (перевод М. Урюнова, ГИХЛ). С первых же строк я обнаружил в ней: бумагу, потребляющую 750 фунтов чернил в час. Там же, на стр. 34 «бочарные доски плотно подогнаны»; на стр. 61 говорится о старомодных панталонах из черного сатина, на стр. 148 о том, что прескварант содержит 75.000 статей.

Английское «Ink» не только чернила, но и типографская краска, «Satin» (как и французское) вовсе не сатин, бумага для панталонов, а втаск — пелевая материя. «Агнес» не только статья, но и предмет (торговля). Бочарные же доски — по-русски кипелы. На стр. 148 находим хорошо облицованную бумагу. По-русски надо сказать — глянцевую, или глянцевую. На стр. 24 «кошко» 23² «дюймов в длину». Затем «кошко» при такой точности? Видимо, переводчика смущило слово «average» (буквально — в среднем), переводимое здесь как «не меньше».

Многие наши переводчики плохо знают английский язык, уже не говоря о slang'e (жаргоне). Обучаясь на «комнатных» словах начальных учебников, они переводят назнакомые термины буквально или по аналогии с русским и французским языками.

Поэтому у читателей вызывает недоумение и дженеттейн в шелковой шляпе и издатель, в котором переведено.

А дело в том, что «silk-hat» (буквально — шелковая шляпа) просто цилиндр, а «editor» не издатель (а если пускать французское «éditeur»), а редактор отдела, выпускающий.

Е. ТОЛКАЧЕВ

ИВАН НОВИКОВ НАЙДЕННАЯ ЖИЗНЬ

До вас доносились пока только озмы информации доселе неведомого вам рассказчики. Вы заняты своими думами, забоями, и автор перечисляет далее жаждущие образы из Гомера, Гамсуна, Шекспира, Льва Толстого, Гейне и Лермонтова; несколько позже говорится еще и о Гофмане. И замечается, что самый стиль этой половины рассказа, пока мальчик не встретился еще с той живой личностью, которую наблюдает пока через ее «окна напротив», — стиль повествования часто тяжелый и книжный, «не свой», и оттого еще как бы усиливает впечатление человека, придрающегося к этому человеку, ведущему свой неспешный рассказ. Бывают такие минуты, когда не только чужие истории, но и самые люди кажутся вам докучными и утомительными, и, однако, вот вы уже слушаете, и люди этой истории — новые люди, но, оказывается, совсем для вас не чужие. Не чужой и рассказчик, хотя также и он совсем для вас новый: в его поговорках именно есть нечто знакомое, но определенно свое, и это — приятное ощущение.

Этот рассказ для книги А. Кучерова очень характерен. Он и в других рассказах своих как бы проиллюстрирует эту «собственную» историю на людей, находящихся в совсем иной обстановке, но также выдающихся из относительно узкой сферы своего бытия в широкий мир более сложной жизни. Таковы в «Потерянной любви» истории его героя — самородка-скульптора, из далекой кавказской глупши попавшего в Ленинград, история его любви к студентке-медичке. Сама эта Машенька, хранящая в себе кое-какие черточки деревенской, не слишком удачной жизни, но не только досадную, а даже раздражительную, вещь, что она, однако, обязана указать: «Но даже тогда, когда мальчик одел пионерский галстук...» Во что он его одел? Хотется думать, впрочем, что в обнаруженному большого товарищеского разговора с самим писателем. Мое мнение таково, что какая-нибудь случайная погрешность, отмеченная старшим писателем у мальчика, будучи начата, приобретает иногда какую-то большую весомость, чем на самом деле была рассчитана. Опять, как будто ниттажную, но не только досадную, а даже раздражительную, вещь, что она, однако, обязана указать: «Но даже тогда, когда мальчик одел пионерский галстук...» Во что он его одел? Хотется думать, впрочем, что в обнаруженному этом писателем. Мое мнение таково, что какая-нибудь случайная погрешность, отмеченная старшим писателем у мальчика, будучи начата, приобретает иногда какую-то большую весомость, чем на самом деле была рассчитана. Опять, как будто ниттажную, но не только досадную, а даже раздражительную, вещь, что она, однако, обязана указать: «Но даже тогда, когда мальчик одел пионерский галстук...» Во что он его одел? Хотется думать, впрочем, что в обнаруженному этом писателем.

Когда я с книгой А. Кучерова, Каюса: если бы я раскрыл ее в середине и начал на «Рассказ пастуха», то я never не писал бы этой заметки, но я развернул книгу в начале и потому прочел ее всю. Самая неудача «Рассказа пастуха» особенно ясна на фоне других рассказов нашего автора. Здесь как раз почти совершенно неопущено присутствие автора и его своеобразной манеры. И не в том дело, что повествование ведется от лица героя, в рассказе «Потерянная любовь» вся история также, кроме немногих авторских слов, передается самим героем рассказа, — но там автор своими приемами дает нам определить живую жизнь и ее движение. А вот «Рассказ пастуха» — даже и не рассказ в полном смысле этого слова, а лишь как бы белая запись того, что кто-то рассказал о себе и что могло бы стать действительным рассказом. И менее всего это рассказ пастуха, пбо нет настоящего своеобразия в восприятии мира, ни слитности этого восприятия с работой человека именно этой профессии, остается же все лишь торопливый конспект вообще занятой переложкой жизни мальчика, а потом юноши, переменившегося десяток разных занятий. А в искусстве, как известно, нет этого «всобще», в нем все очень конкретно и индивидуально, и чем глубже взято это живое, индивидуальное, тем более необходимо и важно возникнуть общей значимости каждого данного образа или того портала чувств и идей, которых возникают в душе у читателя. Но в счастии, в книге А. Кучерова все остальные рассказы не таковы.

Автор этой книги никак не подчеркивает, не выигрывает себя, но мы неизменно чувствуем художника, взмывательного к себе, очень культурного, очень понимающего меру вещей. Он заставляет мягко, но и уверенно почувствовать в своих немногих пейзажах живое движение природы, движение ее скрытых сил. В этой манере его порою чуть слышно сквозят «Бечо», по самому лучшему рассказу, скорее даже повесть — «Илита». Жизнь людей небольшого поселка в горном ущелье, гололедная зима, старик-пастух, от него охотник, простая и милая, из бедной семьи, девочка Илита, учитель Царий, которого нельзя не полюбить, хотя автор не делает для этого ни единого вида усилия, его уход в долину за хлебом и т. д., как он прошел, а девочка, отправившаяся на поиски, убила истекавшего кровью от битвы с волками медведя, — вся эта замкнутая своеобразная жизнь горстки людей дана автором в настойчивой глубине и красоте.

Очень удачен по сжатой энергии рассказ «Бечо», по самому лучшему рассказу, скорее даже повесть — «Илита».

Жизнь людей небольшого поселка в горном ущелье, гололедная зима, старик-пастух,

который же охотник, простая и милая, из бедной семьи, девочка Илита, учитель Царий, которого нельзя не полюбить, хотя автор не делает для этого ни единого вида усилия, его уход в долину за хлебом и т. д., как он прошел, а девочка, отправившаяся на поиски, убила истекавшего кровью от битвы с волками медведя, — вся эта замкнутая своеобразная жизнь горстки людей дана автором в настойчивой глубине и красоте.

Очень мало поддается анализу, почему они хороши. Илита. А теперь напишут велесловье. — «Пускай веселые напишут, Лечка».

Дальше идет коротенькая сцена с высоким, ленивым Сосе, у которого волосы «курявались», как у Царя, и голос напоминал национальную песенку. На голове Царя, перед которым стоял, как спуститься в колодец, говорит Илита: «...приду я вниз...» может соседи помогут, аэроплан поспишат. Илита. Он привезет вам муки и крупы и улетит», — я невольно пасторился; прилетят аэропланы или нет. Он не пристал, я от аэроплана оторвалась. Конечно, вполне возможен хороший рассказ и с прилетом аэроплана, но здесь хоть он и помог бы, конечно, живым вымышленным людям, но погубил бы этот реальный, в действительности награждающий за «девел» вместо «надевал» чувствительный рассказ.

Илита берет книгу: «Вот ты мне даешь книжки, — скажи, почему в них много печального? Почему они хорошие и печальные? Понтиашь — и плакать хочется. Почему мало веселых?» — «Они давно написаны, Илита. А теперь напишут велесловье. — «Пускай веселые напишут, Лечка».

Дальше идет коротенькая сцена с высоким, ленивым Сосе, у которого волосы «курявались», как у Царя, и голос напоминал национальную песенку. На голове Царя, перед которым стоял, как спуститься в колодец, говорит Илита: «...приду я вниз...» может соседи помогут, аэроплан поспишат. Илита. Он привезет вам муки и крупы и улетит», — я невольно пасторился; прилетят аэропланы или нет. Он не пристал, я от аэроплана оторвалась. Конечно, вполне возможен хороший рассказ и с прилетом аэроплана, но здесь хоть он и помог бы, конечно, живым вымышленным людям, но погубил бы этот реальный, в действительности существующий рассказ.

Илита берет книгу: «Вот ты мне даешь книжки, — скажи, почему в них много печального? Почему они хорошие и печальные? Понтиашь — и плакать хочется. Почему мало веселых?» — «Они давно написаны, Илита. А теперь напишут велесловье. — «Пускай веселые напишут, Лечка».

Дальше идет коротенькая сцена с высоким, ленивым Сосе, у которого волосы «курявались», как у Царя, и голос напоминал национальную песенку. На голове Царя, перед которым стоял, как спуститься в колодец, говорит Илита: «...приду я вниз...» может соседи помогут, аэроплан поспишат. Илита. Он привезет вам муки и крупы и улетит», — я невольно пасторился; прилетят аэропланы или нет. Он не пристал, я от аэроплана оторвалась. Конечно, вполне возможен хороший рассказ и с прилетом аэроплана, но здесь хоть он и помог бы, конечно, живым вымышленным людям, но погубил бы этот реальный, в действительности существующий рассказ.

Илита берет книгу: «Вот ты мне даешь книжку, — скажи, почему в них много печального? Почему они хорошие и печальные? Понтиашь — и плакать хочется. Почему мало веселых?» — «Они давно написаны, Илита. А теперь напишут велесловье. — «Пускай веселые напишут, Лечка».

Дальше идет коротенькая сцена с высоким, ленивым Сосе, у которого волосы «курявались», как у Царя, и голос напоминал национальную песенку. На голове Царя, перед которым стоял, как спуститься в колодец, говорит Илита: «...приду я вниз...» может соседи помогут, аэроплан поспишат. Илита. Он привезет вам муки и крупы и улетит», — я невольно пасторился; прилетят аэропланы или нет. Он не пристал, я от аэроплана оторвалась. Конечно, вполне возможен хороший рассказ и с прилетом аэроплана, но здесь хоть он и помог бы, конечно, живым вымышленным людям, но погубил бы этот реальный, в действительности существующий рассказ.

Илита берет книгу: «Вот ты мне даешь книжку, — скажи, почему в них много печального? Почему они хорошие и печальные? Понтиашь — и плакать хочется. Почему мало веселых?» — «Они давно написаны, Илита. А теперь напишут велесловье. — «Пускай веселые напишут, Лечка».

Дальше идет коротенькая сцена с высоким, ленивым Сосе, у которого волосы «курявались», как у Царя, и голос напоминал национальную песенку. На голове Царя, перед которым стоял, как спуститься в колодец, говорит Илита: «...приду я вниз...» может соседи помогут, аэроплан поспишат. Илита. Он привезет вам муки и крупы и улетит», — я невольно пасторился; прилетят аэропланы или нет. Он не пристал, я от аэроплана оторвалась. Конечно, вполне возможен хороший рассказ и с прилетом аэроплана, но здесь хоть он и помог бы, конечно, живым вымышленным людям, но погубил бы этот реальный, в действительности существующий рассказ.

Илита берет книгу: «Вот ты мне даешь книжку, — скажи, почему в них много печального? Почему они хорошие и печальные? Понтиашь — и плакать хочется. Почему мало веселых?» — «Они давно написаны, Илита. А теперь напишут велесловье. — «Пускай веселые напишут, Лечка».

Дальше идет коротенькая сцена с высоким, ленивым Сосе, у которого волосы «курявались», как у Царя, и голос напоминал национальную песенку. На голове Царя, перед которым стоял, как спуститься в колодец, говорит Илита: «...приду я вниз...» может соседи помогут, аэроплан поспишат. Илита. Он привезет вам муки и крупы и улетит», — я невольно пасторился; прилетят аэропланы или нет. Он не пристал, я от аэроплана оторвалась. Конечно, вполне возможен хороший рассказ и с прилетом аэроплана, но здесь хоть он и помог бы, конечно, живым вымышленным людям, но погубил бы этот реальный, в действительности существующий рассказ.

Илита берет книгу: «Вот ты мне даешь книжку, — скажи, почему в них много печального? Почему они хорошие и печальные? Понтиашь — и плакать хочется. Почему мало веселых?» — «Они давно написаны, Илита. А теперь напишут велесловье. — «Пускай веселые напишут, Лечка».

Дальше идет коротенькая сцена с высоким, ленивым Сосе, у которого волосы «курявались», как у Царя, и голос напоминал национальную песенку. На голове Царя, перед которым стоял, как спуститься в колодец, говорит Илита: «...приду я вниз...» может соседи помогут, аэроплан поспишат. Илита. Он привезет вам муки и крупы и улетит», — я невольно пасторился; прилетят аэропланы или нет. Он не пристал, я от аэроплана оторвалась. Конечно, вполне возможен хороший рассказ и с прилетом аэроплана, но здесь хоть он и помог бы, конечно, живым вымышленным людям, но погубил бы этот реальный, в действительности существующий рассказ.

Илита берет книгу: «Вот ты мне даешь книжку, — скажи, почему в них много печального? Почему они хорошие и печальные? Понтиашь — и плакать хочется. Почему мало веселых?» — «Они давно написаны, Илита. А теперь напишут велесловье. — «Пускай веселые напишут, Лечка».

Дальше идет коротенькая сцена с высоким, ленивым Сосе, у которого волосы «курявались», как у Царя, и голос напоминал национальную песенку. На голове Царя, перед которым стоял, как спуститься в колодец, говорит Илита: «...приду я вниз...» может соседи помогут, аэроплан поспишат. Илита. Он привезет вам муки и крупы и улетит», — я невольно пасторился; прилетят аэропланы или нет. Он не пристал, я от аэроплана оторвалась. Конечно, вполне возможен хороший рассказ и с прилетом аэроплана, но здесь хоть он и помог бы, конечно, живым вымышленным людям, но погубил бы этот реальный, в действительности существующий рассказ.

Илита берет книгу: «Вот ты мне даешь книжку, — скажи, почему в них много печального? Почему они хорошие и печальные? Понтиашь — и плакать хочется. Почему мало веселых?» — «Они давно написаны, Илита. А теперь напишут велесловье. — «Пускай веселые напишут, Лечка».

Дальше идет коротенькая сцена с высоким, ленивым Сосе, у которого волосы «курявались», как у Царя, и голос напоминал национальную песенку. На голове Царя, перед которым стоял, как спуститься в колодец, говорит Илита: «...приду я вниз...» может соседи помогут, аэроплан поспишат. Илита. Он привезет вам муки и крупы и улетит», — я невольно пасторился; прилетят аэропланы или нет. Он не пристал, я от аэроплана оторвалась. Конечно, вполне возможен хороший рассказ и с прилетом аэроплана, но здесь хоть он и помог бы, конечно, живым вымышленным людям, но погубил бы этот реальный, в действительности существующий рассказ.

Илита берет книгу: «Вот ты мне даешь книжку, — скажи, почему в них много печального? Почему они хорошие и печальные? Понтиашь — и плакать хочется. Почему мало веселых?»

